

МАКС ФРИШ

НАЗОВУ СЕБЯ ГАНТЕНБАЙН



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.112.2-31(494)
ББК 84(4Шва)-44
Ф90

Серия «Эксклюзивная классика»

Max Frisch

MEIN NAME SEI GANTENBEIN

Перевод с немецкого *С. Апта*
Серийное оформление *Е. Фerez*
Дизайн обложки *А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства
Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG.

Фриш, Макс.

Ф90 Назову себя Гантенбайн : [роман] / Макс Фриш ; [пер. с нем. С. Апта]. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 384 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-111519-7

«Я решил притвориться слепым. Купил очки, трость, желтую нарукавную повязку. И нарек себя другим именем. Теперь я — Гантенбайн. И вот мой двойник зажил своей жизнью. Отныне он видит в людях все то, что было недоступно мне зрячему, видит саму сущность тех, кто был мне дорог...»

На страницах романа автор создает замысловатый калейдоскоп проявлений личности, то выступающих на передний план, то уходящих в тень. Меняется внешность, но изменяется ли при этом суть человека? Кто из героев более «истинен», какие события происходят на самом деле, а какие лишь плод воображения персонажей? В этом и предстоит разобраться читателю.

УДК 821.112.2-31(494)
ББК 84(4Шва)-44

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1964
© Перевод. С. Апт, наследники, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

ISBN 978-5-17-111519-7

Те, кто там был, последние, кто говорил с ним, случайные какие-то знакомые, уверяют, что в тот вечер он был такой же, как всегда, веселый, совсем не надменный. Ужинали славно, но не роскошно; болтали много, довольно-таки содержательно, и он, по крайней мере вначале, был, кажется, не тише других. Кто-то говорит, что удивился тогда усталому взгляду, с каким он слушал, но время от времени он подавал голос, чтобы не сидеть безучастно, острил, то есть держался как обычно. Потом вся компания отправилась еще в какой-то бар, где сперва стояли в пальто, а затем подсели к другим, которые не знали его; может быть, поэтому он и притих. Он заказал только кофе. Когда он потом вернулся из уборной, говорят они, он был бледен, но заметили это, собственно, лишь тогда, когда он, уже не садясь больше, извинился, сказал, что поедет домой, что вдруг почувствовал себя неважно. Попрошался он коротко, без рукопожатий, походя, чтобы не прерывать разговора. Кто-то еще сказал: «Погоди, мы ведь здесь тоже ночевать не собираемся!» Но задержать его, говорят они, не удалось, и когда гардеробщица принесла наконец пальто, он не надел его, а только перекинул через руку, словно бы торопился.

Все говорят, что пил он немного и они даже усомнились, действительно ли он почувствовал себя плохо, не просто ли это предлог уйти; он улыбнулся. Может быть, у него еще какое-то свидание. Дамы польстились ему своим подтруниванием; он как бы согласился с их подозрениями, но не сказал больше ни слова. Пришлось его отпустить. Не было еще даже полуночи. Когда потом заметили на столе его забытую трубку, было уже поздно бежать вдогонку... Смерть наступила, по-видимому, вскоре после того, как он сел в машину; подфарники были включены, мотор тоже, мигалка загоралась и гасла, словно он вот-вот отъедет от тротуара. Он сидел прямо, запрокинув голову, вцепившись обеими руками в разорванный воротник, когда подошел полицейский, чтобы посмотреть, почему не отъезжает машина с заведенным мотором. Смерть была, по-видимому, мгновенная, и, по словам тех, кого при этом не было, легкая — я не могу этого представить себе, — такой смерти можно только пожелать...

Я представляю себе:

Таким мог бы быть конец Эндерлина.

Или Гантенбайна?

Скорее Эндерлина.

Да, говорю и я, я его знал. Что это значит? Я представлял его себе, а теперь он отшвыривает мне мои представления назад, как хлам; ему не нужно больше историй, как не нужно одежды.

Я сижу в баре, среди бела дня, поэтому наедине с барменом, который рассказывает мне свою жизнь. Почему, собственно? Он говорит, а я слушаю, пью заодно или курю, жду кого-то, читаю газету. Вот как дело было! — говорит он, моя стаканы. Подлинная

история, стало быть. Верю! — говорю я. Он вытирает вымытые стаканы. Да, говорит он еще раз, так было дело! Я пью — я думаю: человек что-то испытал, теперь он ищет историю того, что испытал...

Он был моего возраста, я следовал за ним с той минуты, когда он вышел из своей машины, кажется «ситроена», захлопнул дверцу и сунул в брючный карман связку ключей. Требовался общий облик. Собственно, я собирался сходить в музей, сперва позавтракать, потом сходить в музей, поскольку профессиональные мои дела были закончены, а знакомых у меня в этом городе не было, и привлек он к себе мое внимание по чистой случайности, не знаю чем, движением головы, что ли, таким, словно у него что-то чешется: он закуривал сигарету. Я увидел это в тот самый момент, когда и сам хотел закурить; я не стал закуривать. Я пошел за ним, еще не увидев его лица, направо, бросив сигарету без промедления и без поспешности. Это было в районе Сорбонны, в первой половине дня. Словно что-то почуяв, он вернулся к машине, чтобы проверить, действительно ли он запер дверцы, полез за ключами не в тот карман. Я между тем притворился, будто рассматриваю афишу, и закурил, чтобы отличаться от него, трубку. Я уже испугался было, что он сядет в машину и уедет, покуда я делаю вид, что читаю афишу, репертуар ТНП*. Но он — я услышал, как хлопнула дверца машины, и обернулся — пошел пешком, и я, таким образом, мог пойти вслед за ним. Я разглядывал его походку, его одежду, его движения.

* «Театр Нуво Паризьен» — название одного из парижских театров.

Примечательна была лишь его манера загребать при ходьбе руками. Он явно спешил. Я шел за ним, квартал за кварталом, по направлению к Сене, хотя бы лишь потому, что больше мне в этом городе нечего было делать. Теперь он нес кожаную папку, а в первый раз, как я вспомнил, он отошел от машины без папки.

Оттесненный на полосатой пешеходной дорожке встречной толпой, я потерял его из виду и готов был уже опять сдаться; но другая толпа, торопясь перейти улицу до красного света, подтолкнула меня вперед. Не желая того, я пошел дальше. Я хорошо знаю, что из этого ничего не выйдет; раньше или позже любой, за кем я слежу, исчезнет в какой-нибудь двери или вдруг подзовет такси, а когда мне тоже удастся схватить свободное такси, догонять всегда уже поздно, и мне останется только ехать в гостиницу, чтобы плюхнуться на кровать в одежде и башмаках, измотавшись от этих хождений без толку... Это у меня какой-то заскок!.. Итак, я уже сдался было, радуясь, в сущности, что преследование можно не продолжать, как вдруг увидел его снова; я узнал его по взмахам рук. Хотя день только начинался, на нем был темный вечерний костюм, как если бы он возвращался из оперы. Это-то, может быть, и связывало меня с незнакомцем, воспоминание об одном утре, когда я в темном вечернем костюме возвращался от одной женщины. Что я слежу за ним, он еще не почувствовал или уже не чувствовал. Между прочим, он был без шляпы, как я. Хотя он спешил, двигался он не быстрее, чем я, которому нельзя было обращать на себя внимание такой же поспешностью, а надо было идти как все прочие; поэтому от квартала к кварталу он немного вырывался вперед, тем более что я готов был прекратить бесцельное преследование, но потом, пе-

ред красным светом, мы каждый раз снова оказывались в одной куче. Лица его я все еще не видел; только было один раз я с ним поравнялся, воспользовавшись прогалом в толпе, как он поглядел в другую сторону. Другой раз он остановился перед витриной, так что лицо его я смог бы увидеть в отражении, но я не стал с ним заговаривать; лицо его не требовалось — я зашел в первый попавшийся бар, чтобы наконец позавтракать...

У следующего, которого я взял на заметку, кожа была такая, какая бывает только у американцев, молоко с веснушками, мыло, не кожа. Тем не менее я пошел за ним. Я дал ему, глядя сзади, лет тридцать пять; прекрасный возраст. Я только что забронировал место, чтобы лететь обратно, и собирался, собственно, проболтаться оставшиеся часы, может быть, в Централ-парке. Sorry!* — сказал он, потому что толкнул меня, и я оглянулся, но увидел его только сзади. На нем было шиферно-серое пальто, я с любопытством ждал, куда он меня поведет. Он и сам, казалось порой, этого не знал, медлил и тоже, казалось, что-то потерял в этом Манхэттене. Чем дольше мы шли, тем симпатичней он мне становился. Я размышлял: на что он живет, кем работает, какая у него квартира, что он уже испытал в жизни и чего — нет, о чем думает, когда ходит вот так среди миллионов других людей, и кем он считает себя. Я видел его светловолосую голову над шиферно-серым пальто, и мы только что пересекли 34-ю улицу, когда он вдруг остановился, чтобы закурить сигарету; я заметил это слишком поздно, так что по оплошности уже прошел мимо, когда он сделал несколько первых затяжек, а то бы я, может быть, воспользовался случаем

* Простите! (англ.)

вежливо предложить свою зажигалку, чтобы вступить с ним в разговор. Когда я оглянулся, у него уже не было волос на голове, и я, конечно, сразу подумал, что это не может быть он, видимо, я потерял его в толпе и спутал с другим, шиферно-серых пальто сколько угодно. Тем не менее я испугался, когда он вдруг оказался пятидесятилетним мужчиной. Этого я никак не ждал. Can I help you?* — спросил он, и, так как в помощи я не нуждался, он пошел дальше своей дорогой, с дымком над плечом. День стоял голубой, солнечный, но ветреный, в тени было адски холодно; освещенные солнцем небоскребы отражались в стеклянных стенах теневой стороны, и останавливаться на холоде этих ущелий было невозможно. Почему бы ему не быть пятидесятилетним мужчиной? Требовалось его лицо. Почему бы не лицо с лысиной? Мне хотелось еще раз взглянуть на него спереди, но это не получилось; шел он, правда, спокойнее, чем тот, более молодой, он вдруг исчез в каком-то подъезде, и, хотя я последовал за ним — я помедлил не больше двух-трех секунд, — увидеть успел я, только как он вошел в лифт, бронзовые дверцы которого — ими управлял негр в форменной куртке — медленно (как в крематории), неудержимо закрылись; правда, я сразу же, бросив и свою сигарету в непременно в этой стране ведро с песком, вскочил в следующий, соседний лифт и стоял в тесноте, как все другие, которые, едва войдя, называли номер этажа и выходили, когда выкликали их номер; я стоял и смотрел, как вспыхивают юркие номера, — стоял под конец наедине с негром и пожал плечами, когда он спросил меня, куда же мне — в этом здании было сорок семь этажей...

* Не могу ли я помочь вам? (англ.)

* * *

Человек что-то испытал, теперь он ищет соответствующую историю, нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанное остается без всякой истории, и подчас я представлял себе, что у кого-то другого есть точная история того, что испытал я...

(Не у бармена, нет.)

Рассвет за открытым окном вскоре после шести был как стена скалы, серая и без трещин, гранит; из этого гранита, как крик, но беззвучно, вдруг вырывается лошадиная голова с выкаченными глазами, с пеной на зубах, ржет, но беззвучно, живая тварь, она попыталась выскочить из гранита, что с первого разбега не удалось и никогда, я вижу, никогда не удастся, лишь голова с летящей гривой вырвалась из гранита, дикая голова, охваченная смертельным страхом, туловище застряло, и безнадежно белые, безумные глаза глядят на меня, ища милосердия...

Я зажег свет.

Я лежал без сна.

Я видел:

...грива из красной терракоты, внезапно застывшая, безжизненная, терракота или дерево с белыми, как мел, зубами и блестящими черными ноздрями, все искусно раскрашено, лошадиная голова беззвучно и медленно уходит назад в скалу, и скала беззвучно смыкается, без трещин, как рассвет за окном, серый гранит, как на Сен-Готарде; в долине, глубоко внизу, далекое шоссе, виражи, полные пестрых автомобилей, и все они катятся в Иерусалим (не знаю, откуда я это знаю), колонна маленьких пестрых автомобилей, словно игрушечных.

Я позвонил.

За окном шел дождь.

Я лежал с открытыми глазами.

Когда сестра наконец пришла и спросила, в чем дело, я попросил ванну, чего, однако, без разрешения врача было невозможно добиться в эти часы; взамен она дала мне соку и призвала меня образумиться; я должен спать, сказала она, чтобы завтра быть в хорошем состоянии, тогда в субботу меня выпишут, и погасила свет...

Я представляю себе:

Когда ночная сестра, молодая латышка (ее звали Эльке), наконец приходит, она видит пустую кровать: больной сам напустил себе ванну. Он вспотел, и, поскольку ему хочется выкупаться, он стоит голый в облаках пара, когда вдруг слышит ее упреки, еще не видя ее, Эльке, которая ужасается и утверждает, что он сам не знает, что делает. Только когда она закрывает окно и серая муть, которая заволочла и зеркало, постепенно рассеивается, до сознания больного внезапно доходит, что он голый; он улыбается. Он должен лечь в постель, говорит она, должен немедленно закрыть кран, и, поскольку он не делает этого, сделать это она хочет сама; но тут голый преграждает ей путь, и, поскольку сейчас под рукой у него нет ничего другого, чтобы прикрыться перед девушкой, он прибегает к шутке: «Я Адам!» Она не находит это смешным. Он не знает, почему он смеется. Почему ему вздумалось принимать ванну в это время, спрашивает она профессионально, к тому же без разрешения врача? И быстро достает из шкафа мохнатое полотенце, надеясь прекратить эту чепуху; она подает ему полотенце, чтобы он не простудился, без слов, а он смотрит на нее так, словно видит Эльке впер-

вые. Девушка с водянисто-серыми или зеленоватыми глазами. Он берет ее за плечи. Девушка с белесыми волосами и большими зубами. «Что это такое!» — говорит она, а он, не отнимая рук от ее плеч, слышит свой голос: «Я Адам, а ты Ева!» Это звучит покамест как шутка; она не решается кричать в больнице в ночное время и только нажимает на кнопку звонка, другой рукой отбиваясь от этого сумасшедшего, отбиваясь с внезапным страхом, после того как он осторожно снимает у нее с головы чепчик, голубой с красным крестом. Ее лицо он знает уже несколько недель, но волосы ее новы, ее белесые, распущенные и растрепанные теперь волосы. Он не хочет причинять Эльке боли, он хочет только говорить: я Адам, а ты Ева! — и держит ее волосы так, что она уже не может шевельнуть головой. Ты слышишь меня? — спрашивает он. Ей нужно было только улыбнуться, Еве в роли ночной сестры, студентке и прибалтийской крестьянке с зелеными глазами и лошадиной челюстью, только улыбнуться, чтобы все опять стало шуткой. Но она, вылупив глаза, глядит на него. Он, кажется, не знает, что стоит нагишом. Она больше не отбивается, он ведь и не замечает этого; она старается только выхватить у него свой голубой чепчик, но безуспешно, хотя в коридоре тем временем появился дежурный врач. Он твердит свое — дежурный врач, конечно, вообще не понимает, в чем дело, — твердит, как учитель иностранного языка, который хочет вдолбить что-то в головы учеников повторением: «Я Адам, а ты Ева, я Адам, а ты Ева!» — а Эльке, беспомощная, как будто перед ней пьяный, кричит не на него, а на дежурного врача: почему тот стоит и не помогает ей. А ведь ничего плохого с ней при этом не происходит. Дежурный врач, держа руки в карманах белого халата,

стоит как вкопанный, ухмыляясь, он не уверен, что не несет ответственности за это безобразие, *voeuir*^{*}, хоть и поневоле. Что ему делать? Только когда голый замечает, что они, даром что Адам и Ева, не одни в этом коридоре, и подходит к дежурному врачу, ухмылка с лица врача сходит, но и сейчас он не вынимает рук из карманов белого своего халатика. «Кто вы такой?» — спрашивает голый, как будто он ни разу не видел этого врача. Все еще держа руки в карманах белого своего халатика, который отличает его от голого, врач допускает большую оплошность, чем ухмылка: он обращается к голому по фамилии. Приветливо. Но с этого момента все кончено. Непоправимо. Эльке, избавленная от угрозы с его стороны, приводит в порядок свои волосы. «Вы дьявол!» — говорит он, и врач наконец вынимает руки из белого своего халатика, чтобы схватиться за перила лестницы, чтобы отступить, пятясь. «Вы дьявол!» — говорит голый, не переходя на крик, но решительно, как только этот в белом вздумал снова остановиться и что-то сказать. «Вы дьявол, вы дьявол!» И Эльке, опять уже в дурацком чепчике на белесых своих волосах, пытается успокоить его, но безуспешно. Он, голый, и не подумает возвращаться в свою палату. Он устремляется к лифту, который, однако, сейчас не на этом этаже, и, поскольку долго ждать он не может, он бежит вниз по лестнице — мимо дежурного врача — так неожиданно, что врачу и Эльке остается только переглянуться... Две минуты спустя, явно не будучи задержан и оторопевшим привратником, он действительно шагает по улице, куда не выходил несколько недель, мимо людей, которые стоят в ожидании трам-

* Зритель (*фр.*).

вая под блестящими от дождя зонтиками, не веря глазам своим: голый, в чем мать родила, не обращая внимания на дорожные знаки, пересекает наискось улицу по направлению к университету. Остановившись посреди улицы, он проверяет свои наручные часы — кроме них, на нем ничего нет; из-за него приходится резко затормозить велосипедисту, подручному из булочной, который ехал насвистывая, тот падает, поскользнувшись на мокрой мостовой, и это настолько пугает голого, что он вдруг пускается наутек, бегом, хотя его никто не преследует. Напротив, люди шарахаются в сторону, останавливаются, глядят ему вслед. Тем не менее он чувствует, что его преследуют. Уже возле университета ему нужно перевести дух; он тяжело дышит, то наклоняясь вперед и упираясь ладонями в бледные колени, то выпрямляясь, разводя руки в стороны и опуская и опять разводя, как на уроке гимнастики, давным-давно. К счастью, идет дождь. Он не знает, почему это счастье, он ощущает это как счастье. Он знает, что он не Адам, знает, где находится: в Цюрихе, он вполне владеет собой, но он голый и поэтому снова должен бежать, размахивая локтями как можно шире. Он не знает, почему он голый, как это получилось. Он только удостоверяется, не останавливаясь для этого, что очки надеты и что он голый. Значит — дальше, размахивая локтями как можно шире. Не будь он голый, он бы упал от переутомления. Значит, дальше. Чтобы сбросить силы, он бежит вниз, хотя предпочел бы податься в леса, а не в город. Вдруг развилка, красный свет, колонна машин, которые едут не в Иерусалим, и лица за снующими стеклоочистителями, а голый, ничем не прикрытый, протискивается через блестящий металл; он не может ждать, ведь ты еще более голый,

когда не бежишь. Значит, дальше, мимо регулировщика, который, словно не веря глазам своим, остается с поднятой рукой на своей вышке. Как зверь, он находит то, что ему на пользу, один раз строительную площадку, ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН, здесь переводит он дух за дощатым забором, но долго не выдерживает без того, чтобы бежать и бежать. Куда? Другой раз общественный парк, где в этот ранний час ни души, тем более в дождь; он мог бы здесь посидеть на мокрой скамейке, без всяких помех, так пусты все скамейки в эти часы; помехой была бы только его нагота, она не приснилась, о нет, он видит ее, как только перестает бежать. Проснуться, как после сна, нельзя. Он голый, бледный, с черными волосами внизу живота, в очках, и на руке у него часы. Без сил, запыхавшись, он в приступе блаженства — земля между пальцами ног, трава между пальцами ног, — медленнее, но не останавливаясь, дергаясь от одышки, как будто его хлещут кнутом, медленно и все медленнее, с наслаждением конькобежца, руки за спиной, как конькобежец, небрежно описывающий круги, он бежит по общественному газону, огибая ближайший платан то слева, то справа; при этом его разбирает смех: я Адам, а ты Ева! Но только и всего, и вот он уже бежит дальше, и снова через улицу, размахивая локтями как можно шире, и вдруг он видит полицию, она появляется не сзади, а спереди, два мотоцикла, и, поскольку он улыбается, они думают, что он сдается, сразу притирают к тротуару черные свои драндулеты, выдергивают подпорки, оттягивают драндулеты назад, чтобы укрепить их стоймя, прежде чем они пойдут навстречу ему, эти двое в черных кожаных куртках, сапогах и шлемах, обмундированные как водолазы, неповоротливые, и, покуда

они снова усаживаются на свои черные мотоциклы, покуда нажимают на педали моторов, покуда, упершись одним сапогом в мостовую, поворачивают свои мотоциклы, он уже достиг лестницы, которой на мотоциклах не взять. Бежит теперь только его тело. Знакомая ему дверь, обитая желтой медью, на замке. Снова посередине проезжей части улицы, словно бы желая облегчить им задачу, он бежит, он трусит рысцой, покуда опять, после объездного маневра, не появляются черные мотоциклы, один слева, другой справа, эскорт, который его забавляет. Их крики, чтобы он остановился; они, кажется, забыли, что он в чем мать родила...

Я вспоминаю:

Остальное мне рассказал человек, с которым это в самом деле случилось... К нему отнеслись хорошо, говорит он, сочувственно. Он сидел на сцене, дрожа, среди вчерашних кулис. Занавес был открыт, но партер пуст, спинки кресел тускло поблескивали в слабом дневном свете, проникавшем выше галерки, оркестр тоже был пуст. Рабочее освещение. Но репетиция еще не начиналась; были только рабочие сцены. Полицейский в черных сапогах и круглом шлеме, оробев, оттого что впервые в жизни оказался на сцене, не решался сесть, хотя в креслах, расставленных, как в зале для коронации, но довольно-таки убогих на вид без полного освещения, недостатка не было; он пялил глаза вверх на софиты. Когда отворились двери в зрительном зале — это были уборщицы, — он велел им удалиться; делать ему было вообще-то нечего. Ходить взад и вперед, чтобы сократить ожидание, он стеснялся. Стеснялся он также диалога с голым человеком, хотя в зрительном зале, как уже сказано, никого не было, даже уборщиц; он листал служебный блокнот, стоя спиной к партеру,